

ЗАМКНУТАЯ ВСЕЛЕННАЯ СИМВОЛОВ: К ИСТОРИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Марк Ферро, одним из первых открывший для истории область воображаемого, по-видимому, прав, подчеркивая некоторую “неуместность” образов для традиционной историографии и даже для всякого “дискурса об обществе”, неуместность, связанную с тем, что “образ ставит под сомнение одновременно структуру и содержание исторического дискурса” [1]. Возвратившись 15 лет спустя к этой теме, он резюмирует свой опыт исследования кинематографа: “Благодаря монтажу я узнал также, что рассказ в образах функционирует иначе, чем рассказ в письменном тексте, и это привело меня к деконструированию рассказов историка...” [2].

Итак, образ ставит под сомнение дискурс. Конечно, речь идет об уровне высказываний. А что можно сказать об уровне ментальных процессов? Их часто представляют по аналогии со словесным языком. Позволяет ли несводимость дискурса в образах к дискурсу в словах говорить о гетерогенности мышления? Без такого предположения трудно объяснить феномен воображения. Но каким бы естественным это предположение ни казалось, оно противоречит некоторым фундаментальным постулатам современной мысли или, точнее, лингвистической парадигмы.

Чтобы подчеркнуть перемещение кадра анализа, необходимо отличать эту парадигму от “лингвистического поворота” в современной историографии [3]. “Лингвистическим поворотом” называют тенденцию рассматривать исторические факты и их репрезентации субъектами истории и историками с точки зрения лингвистических “протоколов”, которые в них отразились. Поскольку мир дан нам только в языке и благодаря языку, предполагается, что наши “репрезентации”, какими бы “реалистичными” или “научными” они нам ни казались, не “репрезентируют” ничего, кроме дискурсивных механизмов. В историографии (в первую очередь американской) такая тенденция распространилась в 1970-е годы под влиянием постмодернистской литературной критики. Именно в этих хронологических и тематических рамках ее обычно и рассматривают. На наш взгляд, упомянутый “поворот” – лишь позднее проявление лингвистической парадигмы, которая уже в течение ста лет господствует в науках о сознании. Следовательно, свойственный ему дискурсивный редукционизм надлежит связать с редукционистским характером различных моделей сознания, предложенных в кадре данной парадигмы.

Попытаемся показать исторические истоки этой парадигмы, наметить ее контуры, проследить трансформации и, наконец, понять, чем объясняется “неуместность” образа для наук о человеке в нынешнем столетии.

* * *

Лингвистическая парадигма не сводится ни к одной из современных теорий мышления и сама не представляет последовательной теории. Это скорее набор предположений, комбинации которых порождают базовые интуиции различных, порой взаимоисключающих, теорий, придавая им некоторое “семейное сходство”. Парадигма берет истоки в интеллектуальной ситуации конца XIX века, когда многочисленные интеллектуальные течения в различных дисциплинах приняли язык за отправную точку своих размышлений, ставящих целью пересмотреть ассоцианистскую модель сознания, господство которой в философии и психологии утвердилось к 1880 году [5]. Ассоцианисты представляли мышление как свободное сцепление ментальных образов, в первую очередь визуальных, отражающих вещи и положения вещей во внешнем мире. Что касается языка, то он рассматривался как “носитель мысли”, способный адекватно передавать ее содержание. Однако было бы упрощением видеть в лингвистической парадигме только реакцию на ассоцианизм как таковой: скорее отрицался весь комплекс

позитивистских убеждений по поводу сознания, которым начинающая экспериментальная психология лишь давала “научную” формулировку. Еще шире, речь шла о реакции против царившей в европейской мысли 1870-1880 годов “позитивистской ментальности” с ее безграничным доверием к субъективному сознанию, а также смешением стихийного материализма с дуализмом бытовой психологии. В философском плане позитивистская ментальность вдохновлялась прежде всего эмпирицизмом, но она не была несовместимой и с неокантианской эпистемологией в той мере, в какой последняя отвергала – во имя трансцендентального субъекта – всякую возможность сближения между эпистемологией и психологией. В интеллектуальном контексте эпохи это означало отказ от критики разума и признание эпистемологического оптимизма позитивистов.

Именно в широком интеллектуальном движении, порожденном кризисом позитивизма в конце XIX века, берет начало лингвистическая парадигма. Не говоря о революции в физике, перевернувшей картину мира, созданную галилеевской наукой, слишком оптимистическая концепция сознания не соответствовала социально-психологическому климату конца столетия. Тогда казалось, будто проблему сознания можно разрешить, отбросив поверхностные констатации здравого смысла и обнаружив скрытые механизмы, которые определяют то, что мы думаем, или считаем, что думаем. Рождение современной системы социальных наук, главным предметом которых становится загадка сознания, можно рассматривать как одно из проявлений кризиса позитивизма. Но вместе с этой системой родились и новые убеждения, доминирующие с тех пор над исследованием сознания: если главный предмет социальных наук – сознание, то сознание и изучается главным образом науками, стремящимися быть социальными. Эта тесная связь между сознанием и социальными науками представляет собой одну из базовых интуиций лингвистической парадигмы.

В самом деле, отказ от позитивистской веры в ответственное сознание субъекта привел к тому, что объяснения сознания “из самого себя”, то есть из индивидуальной психологии, стали выглядеть все менее убедительными, так же, впрочем, как и возложение на “природу” ответственности за “дела человеческие”. Сознание объясняется взаимодействием людей, следовательно, социальной жизнью. Такова если не единственная, то преобладающая точка зрения. В этих условиях язык оказывается идеальным претендентом на роль субстрата мышления и в конечном счете самого мышления: средство коммуникации *par excellence*, преодолевающий индивида социальный институт, он снимает дуализм благодаря двойственности своего существования – внешнего и материального, с одной стороны, внутреннего и психического, с другой. Кроме того, акцент ассоцианизма на ментальных образах, непосредственно основанных на данных перцепции, расходился с логоцентрической традицией европейской философии. В силу эффекта реакции эта традиция берет теперь верх, что проявляется в заметном оживлении логических исследований, причем проблематика мышления четко отделяется от проблематики перцепции. Новая конфигурация проблем в области исследования сознания окончательно формируется с подъемом теорий реактивного поведения, которые компенсируют ослабление связей сознания с миром, вызванное разрывом между мышлением и перцепцией. Наконец, чтобы понять происхождение лингвистической парадигмы, следует учитывать, что кризис позитивизма в конце XIX века не был всеобъемлющим. Главная линия интеллектуальной эволюции состояла скорее в усложнении позитивистской модели, в частности, в отрицании наивной идентификации “объективных” данных науки с непосредственными данными сознания, которые стали рассматриваться в качестве важнейшего плацдарма для атаки на позитивизм. Напротив, неопозитивизм XX века обращается к более абстрактной, хотя и не менее “объективной” реальности. От этой эволюции язык также мог только выиграть, поскольку благодаря интерпретации, которую дал ему Ф. де Соссюр, он точно отвечал интуиции реальности как системы абстрактных отношений, “материализуемых” в звуке.

Надо ли подчеркивать, что эти интеллектуальные перемены позволили углубить понимание ментальных процессов и самого языка? Идея символических репрезентаций кажется гораздо более сложной, чем упрощенная версия теории отражения, заложенной в ассоцианистской модели сознания. Но и эта идея привела к упрощенным теориям мышления.

Согласно Ф.Брентано и Э.Гуссерлю, значение ментальной репрезентации создается особым актом сознания (означивающей интенцией) [6]. Отсюда следует, что ментальные образы участвуют в мышлении только в качестве символов, чувственная форма которых безразлична для их значения.

Ссылаясь на Гуссерля, вюрцбургская школа в психологии пытается доказать, что мышление не сводится к ментальным образам, но состоит именно в установках познания, позволяющих схватывать логические отношения [7]. В ходе знаменитого спора о “мышлении без образов” эта школа столкнулась с ассоцианизмом. С другой стороны, возникновение и развитие символической логики и логического позитивизма [8] способствует пониманию мышления как символической операции: в противовес ассоциациям ментальных образов пропозиции символической логики претендуют на роль субстрата мышления. Так складывается отрицающее ассоцианизм представление о самой механике мышления.

Именно в это интеллектуальное движение вписывается и семиология [9]. Принцип произвольности лингвистического знака являл собой альтернативу представлению о мышлении как о сцеплении “подобий” вещей внешнего мира, в то время как взгляд на язык как на систему отношений означал атаку на постулат произвольности ассоциаций образов (в том числе звуковых образов слов). Наконец, из условного характера лингвистического знака можно сделать вывод о зависимости индивидуального сознания от социальных отношений, поскольку “психологическая индивидуальность” не имеет других средств выражения (и в конечном счете мышления) кроме тех, которые созданы конвенцией в рамках лингвистического сообщества.

Конечно, логический позитивизм и семиология имели дело с различными уровнями реальности: позитивизм интересовался формами, приписываемыми мышлению, и, захваченный мечтой об идеальном философском языке, видел в реальных языках только препятствие для правильного мышления, а семиология изучала реальные коммуникативные системы. Однако вместе эти два течения давали не лишнюю логики картину некой гомогенной среды символических операций. Благодаря установлению подобия природы языка и мышления открывался путь к концептуализации второго в терминах первого.

Почти одновременно с названными интеллектуальными течениями ассоцианизм был атакован бихевиористской психологией [10]. Атака оказалась решающей, поскольку ассоцианизм потерпел поражение на территории метода. Бихевиористы стремились сделать психологию точной наукой о поведении, рассматриваемом как реакция на стимулы из внешнего мира. Эта гипотеза позволяла им избегать объяснения поведения ментальными явлениями, в том числе и образами, знание которых было возможным только благодаря интроспекции, более чем подозрительной как позитивный метод. Этот подход, как и гипотеза об особой среде знаков, вел в конечном итоге к радикальному преодолению дуализма, что и осуществил Дж.Райл, объявивший гипотезу сознания не только бесполезной, но и логически несостоятельной [11]. Можно предположить, что подобная позиция в равной степени опасна для всякой концепции сознания, будь то ассоцианистская модель или модель, представляющая мышление как символическую операцию. Но на самом деле опасность для двух моделей была совершенно различной: ментальные образы в той интерпретации, которую им давал ассоцианизм, признавали равноправными и кадр анализа, и понятие субъективного сознания, а идея символических операций была совместима скорее с возведенной в ранг преодолевающей индивида субстанции средой знаков, нежели с субстанцией субъективного сознания.

Двойственность существования – внутреннего и внешнего одновременно – позволяла среде знаков преодолеть оппозицию мира и субъекта, не принося в жертву мышление (при условии сведения его к символической операции). Недостающее звено привнесла бихевиористская лингвистика, которая трактовала мышление как интериоризированное языковое поведение [12]. В этой теории социальная критика разума достигает апогея: мышление оказывается ни чем иным, как интериоризированным социальным процессом, подчиняющимся законам социальной коммуникации. Впрочем, и другие течения лингвистики отражают ту же линию рассуждений: акцент структурной лингвистики на фонологии [13] свидетельствует о склонности к “материализации” и “десубъективации” языка, а Э.Сэпир и Б.Л.Уорф настаивают на основополагающей роли языка для структурирования мышления [14].

Очевидно, что эти столь разные школы не могут рассматриваться как элемент целостного научного проекта; скорее на них повлиял общий интеллектуальный климат. С этой точки зрения примечательно, что даже такое течение, как герменевтика (не столько субъективистская герменевтика В.Дильтея, сколько радикальная герменевтика М.Хайдеггера и философия культуры М.Бахтина) была отмечена той же тенденцией: принятый ею путь “погружения” субъекта в мир пролегал прежде всего через “погружение” субъекта в языковую среду.

Впрочем, представление о вездесущности языка вовсе не было наваждением одних только философов и лингвистов. Литература модернизма также более не считает язык средством описания “предустановленной” реальности: для нее он особая среда, которая, следуя собственной природе, производит особую реальность. Одновременно распространяется мысль о капитальной роли языка для идеологий и социально-политических конфликтов. Некоторые даже возлагают на несовершенство языка ответственность за социальное зло [15]. Коротко говоря, во всех областях интеллектуальной жизни осознается новая “плотность” языка, что не позволяет интерпретировать его в качестве простого “переносчика мыслей” ответственных рациональных субъектов. Он сам становится субстанцией, преодолевающей дихотомию субъект-мир, возможно, даже единственной субстанцией, вне которой не существует ничего. Но в глубоко “материалистическом” интеллектуальном климате первой половины XX века язык посягал не столько на мир, сколько на субъект.

* * *

С точки зрения концепции сознания XX столетие как бы разрезано надвое когнитивной революцией 50-х годов, которая отвергла бихевиоризм и возродила ментализм – вплоть до гипотезы врожденного характера разума, противостоящей тезису о его социальном конструировании [16]. Но, отвергнув бихевиоризм, неоментализм испытал влияние общих с ним интеллектуальных источников, точнее, течений мысли, атаковавших в начале века ассоцианистскую модель сознания. Идея компьютерного разума, вдохновляющая когнитивную революцию, основывается на гипотезе особого уровня символических репрезентации, которая в известном смысле менее совместима с классическим ментализмом, чем с бихевиоризмом. К 50-м годам интеллектуальный пафос бихевиоризма, вынужденного отрицать сознание, чтобы сделать его познаваемым, устаревает: уподобление мышления языку теперь настолько общепринято, что постулировать даже врожденный разум уже не означает постулировать субъект. Лингвистический дуализм неоментализма становится формой дуализма, способной преодолеть дихотомию субъект-объект, с которой не смогла совладать позитивистская наука. Когнитивисты оказываются вместе с бихевиористами в одном лагере сторонников сциентизма, для которого по-настоящему неприемлемым тезисом является субъективность сознания. Компьютер не противостоит миру, поскольку компьютер не есть субъект.

Конечно, неоментализм не отождествляет мышление с языком. На уровне “центральных процессов” мышление представляется компьютерацией с символами

совершенно другого типа, нежели лингвистические символы, допущенные только на уровень “локальных процессов” сознания. Однако когнитивистский подход к языку отмечен двойственностью: “инкапсулированный” в одном из “модулей” локальных процессов, но понимаемый как символическая система *par excellence*, язык более, чем любая другая человеческая “способность”, сопричастен природе мышления благодаря исключительному месту, которое он занимает в системе обработки информации, рассматриваемой как сущность мышления. Для описания “языка” мысли когнитивисты постоянно прибегают к лингвистическим метафорам, так что, отчасти вопреки собственному желанию, когнитивизм несет отпечаток врожденной лингвистичности.

Таким образом, когнитивизм можно считать проявлением той же лингвистической парадигмы, что и отвергнутый им бихевиоризм. Но это отнюдь не единственное течение, воспринявшее идеи лингвистической парадигмы: можно назвать целый ряд тенденций, которые обычно ассоциируются с “лингвистическим поворотом”, начиная от структурализма 50-60-х годов и кончая символической антропологией и различными формами постструктурализма, в том числе, конечно, и деконструктивизмом. Особенностью послевоенного периода явилось подчинение дискурсу не только субъекта, но и мира. Решающий шаг был сделан, по-видимому, К.Леви-Строссом. Он приложил принципы лингвистики к анализу не только первобытного сознания, но и социальных отношений (в частности, структур родства, которые сравниваются с системами коммуникации) [18]. С тех пор “лингвистическая аналогия” стала важнейшим инструментом антропологического анализа социального поведения, принятым далеко за дисциплинарными границами антропологии. Так, символическая антропология, отрицая структурализм, опирается на ту же семиологическую традицию (известно, что формула “лингвистическая аналогия” принадлежит К.Гирцу [19]). Вслед за разумом мир оказался подчинен языку, что ставит под сомнение сам принцип референциальной семантики, основополагающий как для классической семиологии, так и для когнитивизма. Этот принцип был подвергнут критике, когда Р.Барт, М.Фуко и Ж.Деррида каждый по-своему начали подчеркивать глубоко дискурсивный характер и мира, и сознания [20]. В данном тезисе, который считают постмодернистским, находит свое полное завершение лингвистическая парадигма, свойственная наукам о человеке в XX веке. Но разве не идея субъекта остается главной мишенью этого отрицания мира?

Создается впечатление, что утверждение “нет ничего вне текста” – не более, чем парадоксальная переформулировка одного из фундаментальных постулатов социальных наук XX века. Но парадокс возникает только благодаря отрицанию мира, поскольку парадоксальность отрицания субъекта в наши дни утрачена. Однако, по-видимому, именно исчезновение субъекта обрекло на исчезновение мир. Последнее слово лингвистической парадигмы вряд ли могло состоять в чем-то ином, нежели отрицание мира: в замкнутой вселенной знаков референциальная семантика чувствует себя не слишком уютно. Поглотив мышление, язык преодолевает дихотомию субъекта-объекта, но при этом больше не остается ни мира, ни сознания.

* * *

Судьба интеллектуальных течений, которые могли бы стать альтернативой лингвистической парадигме, свидетельствует о том, как последняя сумела установить свое господство в науках о человеке XX века. Рассмотрим пример имажинизма (исследований по ментальному воображению) в когнитивной психологии. Это течение отмечено неустранимой двойственностью: с одной стороны, оно претендует на наследие ассоцианизма и пытается показать роль ментальных образов в мышлении, причем, постулируя гетерогенность мышления, имажинизм выглядит отрицанием лингвистической парадигмы. С другой стороны, имея общие истоки с когнитивизмом, он разделяет немало его черт, в частности, рассматривает мышление исключительно как обработку информации, так что его концепция ментального воображения практически открывает когнитивизму доступ в область изучения воображения.

После торжества бихевиоризма в 20-е годы ментальные образы были изгнаны из психологии (между тем лингвисты продолжали исследование мышления). И только в 60-е годы, то есть уже после победы ментализма, одержанной на территории лингвистики, и триумфа компьютерной модели разума они вновь возродились. Главную роль в этом возрождении сыграли, по-видимому, исследования визуальной перцепции, впечатляющие успехи которых стимулировались, начиная со Второй мировой войны, потребностями военной авиации [23]. Падение бихевиоризма благоприятствовало проекту экспансии этого динамичного течения на ранее запрещенную территорию ментальных образов. Не удивительно, что, имея такую генеалогию, имажинизм сохранил тесную связь с проблематикой перцепции и интериоризировал профессиональные каноны экспериментальной психологии, которые отдавали предпочтение изучению элементарных и изолированных актов поведения и мышления. Кроме того, тяга имажинистов к простым образам объектов внешнего мира объясняется тем, что торжество лингвистического ментализма не обеспечило легитимности ментальных образов. Доказать психологам-бихевиористам и лингвистам существование элементарных, следовательно, несомненных ментальных образов стало главной заботой имажинистов [24]. Но это возвращало к примитивной версии теории отражения, свойственной ассоцианизму прошлого века. До тех пор, пока психологи будут брать за основу своей концепции разума изучение подобных образов, им едва ли удастся выйти за пределы этого концептуального кадра. Чтобы приступить к изучению более сложных образов, которые недоступны в эксперименте, необходимо, видимо, пересмотреть интеллектуальный проект психологии, которая стремится быть экспериментальной наукой. Поскольку возвращение к ассоцианизму, равно как и отказ от экспериментального метода невозможны, имажинизм с самого начала был обречен на поиск компромисса с когнитивизмом. Его главная претензия касалась теории двойного кодирования (лингвистического и визуального) перцептов в памяти [25]. Но эта теория не объясняла, по каким правилам на основе кодированных данных функционирует мышление. Ничто не мешало ответить: по законам символической логики [26] (отсюда происходит термин “пропозиционизм”, применяемый к классическому когнитивизму). Когда затем имажинисты предположили, что наряду с глубинными грамматическими структурами существуют глубинные структуры визуального воображения (своего рода пространственные схемы) [27], они только стали лить воду на мельницу своих противников: гораздо легче представить, как в логические пропозиции перекодируются геометрические фигуры, а не чувственные образы.

Благодаря четкому различению двух уровней ментальных процессов, то есть локальных процессов, организованных в форме “модулей” с различными системами кодирования (в том числе лингвистического модуля и модуля визуального воображения), и центральных процессов, имплицитно отождествляемых с мышлением, для которых допускалась только форма логических пропозиций, когнитивизм к середине 80-х годов добился гегемонии в изучении разума. Теоретический неуспех имажинизма вызван прежде всего слишком узкими рамками концепции воображения, сводимого к способности вызывать в сознании образы предметов, которые можно “вращать” на время в воображении, но которые не слишком пригодны для объяснения более сложных ментальных функций. Однако и триумф когнитивизма похож на пиррову победу: чем более логически последовательным он становится, тем очевиднее; что компьютерная модель сознания с трудом объясняет связь вселенной символических компьютераций с другими уровнями реальности.

Итак, исследования элементарных визуальных образов не смогли ослабить господства лингвистической парадигмы. Однако существует ряд течений, интересующихся более сложными образами, которые могли бы претендовать на роль субстрата или формы мышления. Речь идет о некоторых школах психологии искусства, вышедших из гештальт-психологии [28], об антропологии воображения, развивающей традиции Г.Башляра [29], а также о семиологии визуального языка, опирающейся прежде

всего на труды П.Франкастеля [30]. Но все эти течения выглядят маргинальными в интеллектуальной жизни в целом, поскольку они занимаются областями – в частности, искусством и литературой, – которые рассматриваются как иррелевантные для концепции разума, тогда как обычный предрассудок требует, чтобы “природа” мышления соответствовала идеализированному образу позитивистской науки. Поэтому, если образы не изгоняются в сферу локальных процессов, они выталкиваются на периферию научных исследований.

Однако складывается впечатление, что, сколь бы неколебимой ни казалась лингвистическая парадигма, она уже достигла логических пределов своего развития. Как постмодернистские теории дискурса, так и *plus ultra* модернистские теории компьютерного разума ограничиваются замкнутой вселенной знаков. Нет никаких признаков, указывающих на то, что эти течения способны взорвать изнутри созданные ими автореференциальные системы. В этих условиях можно ожидать попыток радикального пересмотра лингвистической парадигмы.

Что касается историков, то инстинкт ремесленников побуждает их противопоставлять “семиологическому вызову” стихийный реализм практиков, хотя сегодня мало кто подпишется под “*wie war es eigentlich gewesen?*”* Ранке. Многие соглашались с тем, что в работах сторонников лингвистического поворота есть чему поучиться, особенно в плане критики источников, не принимая при этом всерьез их деконструктивистские эскапады. Это – позиция трезвого компромисса: вы ограничиваете свой проект совершенствованием той науки, которая сегодня существует, а мы не говорим, что то, что вы делаете, никому не нужно. Вполне разумная и практически эффективная, такая позиция не слишком интересна с теоретической точки зрения. Если справедливы вышеприведенные рассуждения, перед лицом всемогущего текста недостаточно просто отстаивать дело контекста. Для того, чтобы покончить с миром, лингвистическая парадигма должна была прежде покончить с субъектом. Следовательно, чтобы вернуть себе мир, науки о человеке должны для начала вернуть в мир субъект, но не трансцендентальный субъект классической философии и позитивистской науки, а субъект-в-мире, рассмотренный в многообразии форм его бытия, среди которых язык только одна из них. Если разум создает мир, субстантивируя свои собственные формальные условия, то речь не обязательно идет об априори чистого разума, но об априори разума-в-мире, порожденных совокупностью биологических и социальных условий его существования. По-видимому, в повестке дня – обращение к Канту, прочтение его сквозь призму гуссерлевской концепции *Lebenswelt*, помещенной в двойственную перспективу феноменологии тела и феноменологической социологии.

Но, если речь идет о тотальности человеческого опыта, не идет ли тем самым речь о многообразии форм мышления? Разве гетерогенность мышления не предполагает с необходимостью субъект, который служит ему принципом единства, но рискует оказаться элиминированным при постулировании гомогенности мышления? Объединенные субъективным сознанием, различные формы мышления не являются ни абсолютно разграничимыми, ни абсолютно переводимыми друг в друга, откуда, в частности, вытекают присущие мышлению внутренние противоречия. В этом контексте уместно пересмотреть обычную оппозицию мысли в словах и мысли в образах, оппозицию, которая сохраняется при условии, что язык рассматривается только как коммуникативная система, а воображение – как способность вращать в уме параллелепипеды. Но необходимо прежде всего “деконструировать” (в этимологическом смысле слова) эти два понятия, чтобы увидеть многообразие скрывающихся за ними форм мышления. Существуют формы воображения, неотделимые от некоторых форм мысли в словах, но есть и иные, радикально противостоящие друг другу. Изучение сложных форм внесловесного воображения в их взаимодействии с лингвистическими механизмами представляется одной из возможностей проверить высказанные выше гипотезы. Нам не кажется, что историки должны полностью передоверить эту работу коллегам,

работающим в других дисциплинах. В конце концов они говорят, думают и пускают в ход воображение тогда, когда работают как историки, и никто лучше них не знает, как они это делают. По словам И.Мейерсона, “не только та или иная человеческая черта объективируется и фиксируется в трудах человеческих, но все человеческое стремится объективироваться и выразить себя в своих трудах” [36]. Создаваемая историками история выражает, следовательно, “все человеческое” историков. Но именно многообразии ментальных функций и открывает, по-видимому, путь из замкнутой вселенной знаков. Если наши репрезентации имеют какое-то отношение к внешнему миру, то это потому, что они разнородны и противоречивы, и мир, наряду с психологическими факторами, может нести свою долю ответственности за противоречия в мышлении.

Литература

1. *Ferro M.* Image // Ed. by J. Le Goff, J.Revel, R.Chartier. La Nouvelle Histoire. Paris, 1978. P. 246.
2. Marc Ferro, de Braudel a Histoire parallйle // Cинйma et Histoire. Autor de Marc Ferro. Paris, 1992. P. 56.
3. Modern European intellectual history: Reappraisals and new perspectives. London: Cornell University Press, 1982; *Parner N.F.* Marking up lost time: Writing on the writing of history // *Speculum*. 1986. Vol. 61. № 1. P. 90-117; *Toews J.E.* Intellectual history after the linguistic turn: The autonomy of meaning and and irreducibility of experience // *The American Historical Review*. 1987. Vol. 92. №4. P. 879-907; *Ankersmit F.R.* Historiography and postmodernism // *History and Theory*. 1989. Vol. 28. № 2. P. 137-153; *Jacoby R.* A New intellectual history? // *The American Historical Review*. 1992. Vol. 97. №2. P. 405-424; *Capra D. la.* Intellectual history and its ways // *The American Historical Review*. 1992. Vol 97. №2. P. 425-439.
1. *Taine H.* De l’intelligence. Paris: Hachette, 1870.
2. *Galton F.* Inquiries into human faculty and its development. London: Macmillan, 1883; *Titchener E.B.* Lectures on the experimental psychology of the thought processes. New York: Macmillan, 1909.
3. *Brentano F.* Psychologie vom empirischen Standpunkte. Leipzig: Duncker, 1874; *Husserl E.* Logische Untesuchungen. Halle: Niemeyer, 1901.
4. Вьhler K. Tatsachen und Probleme zu einer Psychologie des Denkvorgdngne // *Archiv fьr gesamte Psychologie*. Bd. 9. 1907. S. 298-365; Bd. 12. 1908. S. 1-92.
5. *Frege G.* ьber Sinn und Bedeutung // *Zeitschrift fьr Philosophie und Philosophische Kritik*. Bd. 100. 1892. S. 25-50.
6. *Saussure F. de.* Cours de linguistique гьййrale. Lausanne: Payot, 1916.
7. *Watson J.B.* Psychology as the behaviorist views it // *Psychological Review*. Vol. 20. 1913. P.158-177; *Behaviorism*. Chicago: University of Chicago Press, 1924.
8. *Ryle G.* The concept of mind. London: Hutchinson, 1949.
9. *Bloomfield L.* Language or ideas? // *Language*. 1936. Vol. 12.
10. *Trubetskoi N.* Grundzьge der Phonologie. Prague, 1939; *Jakobson R.* Essais de linguistique гьййrale. Paris: Minuit, 1963.
11. *Sapir E.* Language. New York: Harcourt, 1929; *Whorf B.L.* Language, thought, and reality. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1956.
12. *Chase S.* The tyranny of words. London: Methuen, 1938.
13. *Gardner H.* The mind’s new science. A history of the cognitive revolution. New York: Basic Books, 1985; *Varela F.* Connaitre les sciences cognitive. Paris: Seuil, 1989. Доведенная до логического предела в работах Д. Фодора (J. Fodor. The language of thought. Hassocks (Sussex): Harvester Press, 1976; The modularity of mind. Cambridge

- (Mass.): MIT Press, 1983), философская доктрина когнитивизма, по-видимому, испытала решающее влияние лингвистической теории Н.Хомского (*Chomsky N. Syntactic structures. The Hague: Mouton, 1957; Chomsky N. Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1965*).
14. *Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallimard, 1966.*
 15. *Lévy-Strauss C. Les structures élémentaires de la parenté. Paris: PUF, 1949; Lévy-Strauss C. La pensée sauvage. Paris: Plon, 1962.*
 16. *Geertz C. The interpretation of cultures. New York: Basic Books, 1973.*
 17. *Barthes R. La mort de l'auteur // Essais critiques IV. Le bruissement de langage. Paris: Seuil, 1979; Barthes R. Le discours de l'histoire // Social Science Information. Vol. 6. № 4. 1967. P. 65-76; Foucault M. L'archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969; Derrida J. De la grammatologie. Paris: Minuit, 1967.*
 18. *Kuhlner W. The task of gestalt-psychology. Princeton: Princeton University Press, 1969; Wertheimer M. Productive thinking. London: Tavistock, 1959.*
 19. *Bartlett F.C. Remembering. Cambridge: Cambridge University Press, 1932; Piaget J., Inhelder B. L'image mentale chez l'enfant. Paris: PUF, 1963.*
 20. *Gibson J.J. The perception of the visual world. Boston: Mifflin, 1950.*
 21. *Shepard R.N., Cooper L.A. Mental images and their transformations. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1982.*
 22. *Paivio A. Imagery and verbal processes. Hillsdale (N.J.): Erlbaum, 1971.*
 23. *Pylyshyn Z.W. What the mind's eye tells the mind's brain: A critique of mental imagery // Psychological bulletin. Vol. 80. 1973. P. 1-24.*
 24. *Kosslyn S.M. Image and mind. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1980.*
 25. См., например: *Arnheim R. Visual thinking. Berkeley: University of California Press, 1974.*
 26. См., например: *Durand G. Les structures anthropologiques de l'imaginaire. Paris: PUF, 1963; Bachelard G. La poétique de l'espace. Paris: PUF, 1957.*
 27. *Saint-Martin F. Симиология du langage visuel. Québec: Presses de l'Université de Québec, 1987; Francastel P. Etudes de sociologie de l'art. Paris: Denoël-Gonthier, 1970.*
 28. *Varela F., Thomson E., Rosch E. The embodied mind: Cognitive sciences and human experience. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1993.*
 29. *Husserl E. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie. The Hague: Nijhoff, 1954; Merleau-Ponty M. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945; Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Wien: Springer, 1932.*
 30. *Cassirer E. The philosophy of symbolic forms. New Haven: Yale University Press, 1933. Vol. 1-3; Wittgenstein L. Philosophical investigations. New York: Macmillan, 1953.*
 31. *Библер В.С. От наукоучения к логике культуры: Два философских введения в XX век. М., 1991.*
 32. *White H. Metahistory: The historical imagination in XIXth-century Europe. London: The Johns Hopkins University Press, 1973.*
 33. *Meyerson I. Les fonctions psychologiques et les oeuvres. Paris: Vrin, 1948. P. 69.*